

Н. Аксакова

**Из детских воспоминаний о преподобном
Серафиме Саровском
Н.Аксакова**

Отшельник 1-й четверти XIX столетия и паломники его времени

На этих днях Церковь и народ православной России, с Царской семьей во главе, благоговейно отпраздновали давно ожидаемое великое духовное торжество – открытие мощей преподобного Серафима, Саровского Чудотворца. Тысячами со всех концов России тянутся уже проторенной народом тропой богомольцы поклониться честным мощам угодника Божия с теплой верой в могучее предстательство на Небесах прославленного ныне Церковью молитвенника о душах наших. Толки о радостном событии невольно вызывают в памяти картины давно, давно минувших дней моего детства: прошедшее словно оживает передо мной и в воображении рисуется ярко образ подвижника муромских лесов, каким мне досталось великое счастье видеть его около трех четвертей века тому назад. Вероятно, очень немного нового прибавят мои воспоминания к тому, что уже известно о житии и подвигах преподобного Серафима, но, мне кажется, личные показания очевидца должны иметь в настоящее время некоторое значение, а потому мне хочется рассказать, насколько я могу припомнить, о том, чему я была свидетельницей при посещении Саровской пустыни в 1831 или 1832 году.

Не могу теперь вспомнить, за дальностью времени, ближайших причин, побудивших отца моего и мать сняться с гнезда своего в Нижнем Новгороде и отправиться в муромские леса, забрав с собой всю громадную семью, от старших подростков до младенца у груди матери, и чуть ли не всю дворню, – одним словом, по тогдашнему выражению, – чадцев и домочадцев, весь дом свой...

Шло и ехало большинство паломников ради выполнения обета, данного в ту или другую трудную минуту жизни.

А благодарить было за что в те далекие времена. Еще свежи были в памяти каждого ужасы двенадцатого года. Немало было дано обетов в эту страшную годину и бедными и богатыми людьми. Затем пошли радости освобождения, ликования и торжества неслыханных побед. Подъема

общественного духа достало более чем на десятки лет. А где подъем духа – там и влечение к подвигу.

И вот... незадолго до описываемых событий над страной стряслась новая общественная беда: случился первый грозный натиск неведомой до тех пор азиатской гостыи – холеры. И что же? – Те же люди того же самого поколения, которые при нашествии иноплеменника сплотились дружным отпором как один человек, глубоко прочувствовав общую солидарность перед общей всем бедой, теперь поспешили стушеваться, укрыться каждый в свою нору. Страх за себя, за себя лично охватил каждого. Люди смотрели зверем на прохожего, ограждая жилье свое кострами и куревом. Человек опрометью перебежал через улицу, завидев человека вдалеке. Проезжий в страхе заезжал с возом своим в сугроб только бы не дохнуть ему зараженным, может быть, дыханием встречного.

Но, к счастью, сократились и эти дни.

Снялись карантинные заставы, снова стала скатертью дорога по всей шири и глади нашей земли. Народ снова хлынул по всем местам привольного богомолья.

Вот в это-то самое время мне с сестрами и братьями (теперь уже давно покойными) привелось застать отшельника муромских лесов в самый разгар его подвижнических работ.

Ехали мы на долгих... Живо помню прелесть привалов у лесной опушки с кострами около ручья или над колдобиной в лесу, с самоварами под тенью деревьев, – со всем раздольем полуцыганского кочевья...

Помню ночевки в громадных селах богатого, зажиточного края: в просторной, недавно срубленной избе сладко засыпалось под жужжанье бабьих веретен... Смотришь спросонья – а бабы все прядут, молча прядут, а не далеко за полночь. Седая свекровь то присаживается, то снова встает, мерными, как маятник, движениями вставляя лучину за лучиной в высокий светец... А с высоты светца сыплются искры брызгами, огненным дождем придавая молчаливому труду крестьянок в ночной тиши что-то фантастическое, сказочное...

После каждого ночлега, после каждого привала все длиннее и длиннее становился поезд саровских богомольцев. Люди любили в те времена держаться вместе, подъезжая к небезопасной тогда местности муромского бора.

Помню, как по сыпучим пескам большой дороги медленно и грузно тянулась вереница наших экипажей, огибая опушку грозного хвойного леса. К хвосту поезда одна за другой примыкали крестьянские телеги; пешие богомольцы усердно месили ногами сыпучий песок, только бы не

отстать им и не лишиться охраны поезда. Изредка раздавался ружейный выстрел: это тешился старый пленный турок, когда-то вывезенный дедом. Теперь он в качестве не то буфетчика, не то домоправителя важно восседал на широких козлах бабушкиного дормеза, приговаривая после каждого выстрела что-нибудь вроде: «А пуцай их пужаются там в лесу».

Общего вида Саровской обители при въезде что-то не могу припомнить. Дело было, вероятно, к вечеру, и мы, дети, вздремнули, прикорнув на коленях старших.

При входе в длинную, низкую со сводами монастырскую трапезу нас, детей, охватила легкая дрожь, не то от сырости каменного здания, не то просто от страха. В самой середине трапезы монах, стоя за аналоем, читал Жития святых. Почетные гости сидели в глубоком молчании за длинным столом направо. Лениво кушали «почетные», брезгливо черпая деревянными ложками из непривычной для них общей чаши. Крестьяне за другим столом налево усердно хлебали вкусную монастырскую пищу. Те и другие молчали. Под тускло освещенными сводами раздавался только монотонный голос чтеца да сдержанное шарканье по каменному полу туфель служек, разносивших кушанье в деревянных чашках и на деревянных же лотках.

В эту ночь нас, детей, не будили к заутрени, и попали мы лишь к обеду. Отца Серафима у службы не было, и народ прямо из церкви повалил к тому корпусу, в котором находился монастырский приют отшельника. К богомольцам примкнула и наша семья. Долго шли мы под сводами нескончаемых, как мне тогда казалось, темных переходов. Монах со свечой шел впереди. «Здесь», – сказал он и, отвязав ключ от пояса, отпер им замок, висевший у низенькой узкой двери, вделанной в глубь толстой каменной стены.

Нагнувшись к двери, старик проговорил обычное в монастырях приветствие: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Но ответного «Аминь», как приглашения войти, не последовало. «Попробуйте сами, не откликнется ли кому из вас», – сказал старик вожатый, обращаясь к богомольцам. Обычный возглас у закрытой двери повторил и отец мой и другие, – пробовали и женщины и дети... «Чтобы вам, Алексей Нефедович», – робко пригласила мать высокого господина в отставном гусарском мундире, человека еще молодого по гибкости стана и блеску черных глубоких глаз, – старца же по седине в усах и по морщинам, бороздившим высокий лоб. Алексей Нефедович Прокудин быстро прошел к двери, нагнулся к ней и с уверенностью друга дома, с улыбкой уже готового приветия на лице мягко проговорил знакомым нам грудным

тенором: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». На его симпатичный голос не послышалось однако ответа из-за закрытой двери. «Коли вам, Алексей Нефедович, не ответил, стало быть, старца-то и в келлии нет. Идти разве, понаведаться под окном, не выскочил ли он, как послышался грохот вашего поезда на дворе». Мы вышли за седеньким вожатым из коридора другим, уже более коротким путем. Обогнув за ним угол корпуса, мы очутились на небольшой площадке, под самым окном отца Серафима. На площадке этой между двумя древними могилами действительно оказались следы от двух, обутых в рабочие лапти, ног. «Убег», – озабоченно проговорил седенький монашек, смущенно поворачивая в руках ненужный теперь ключ от опустевшей келлии. «Эхма», – глубоко вздохнул он, смиренно возвращаясь к делу своего послушания как вожатого богомольцев по монастырской святыне. Толпа их между тем уже теснилась около стоявшей поодаль древней могилы с чугунным гробиком поверх земли вместо памятника. Кто, крестясь, прикладывался к холодному чугуну, кто сгребал из-под гробницы сыпучий песок в угол шейного платка... Три раза перекрестившись, монах поклонился перед древней могилой до самой земли. До земли же за ним поклонился и весь народ. «Отец наш Марк», – начал инок свой обычный монастырский сказ: «Отец наш Марк спасался в этих самых лесах, когда еще только обстраивалась впервой эта обитель наша. Супостаты лесные грабители окаянные не раз калечили его в бору, выпытывая от него место, где зарыты, будто бы, монастырские сокровища, и, наконец, с досады вырвали у него язык. Десятками лет жил затем мученик в бору нашем уже невольным молчальником.

И вот за все терпение его при жизни дает теперь Господь гробнице его чудодейственную силу. Как вы знаете, много уже чудес творилось над этой могилой, – а мы, недостойные его братья, поем здесь панихиды, выжидая, когда Богу угодно будет явить из-под спуда его святые мощи».

Толпа богомольцев почтительно расступилась, прервав речь монаха: шел сам игумен с певчими служить обычную воскресную панихиду над могилой давно усопшего брата.

После панихиды отец игумен благословил нас, богомольцев, отыскивать отца Серафима в бору: «Далеко ему не уйти, – утешил игумен, – ведь он, как и отец наш Марк, сильно калечен на своем веку. Сами увидите: где рука, где нога, а на плечике горб. Медведь ли его ломал... люди ли били... ведь он, что младенец, – не скажет. А все вряд ли вам отыскать его в бору. В кусты спрячется, в траву заляжет. Разве сам откликнется на детские голоса. Забирайте детей-то побольше, да чтоб

наперед вас шли. Непременно бы впереди бегли», – кричал еще игумен вслед уже двинувшейся к лесу толпе.

Весело было сначала бежать нам одним, совсем одним; без присмотра и без надзора бежать по мягкому, бархатному слою сыпучего песка. Нам, городским детям, то и дело приходилось останавливаться, чтобы вытрясти мелкий белый песок из той или другой прорезной (модной в то время) туфельки. Деревенские же босоножки, подсмеиваясь, кричали нам на ходу: «чего не разуетесь... легче будет». Лес же становился все гуще и рослее. Нас все более и более охватывало лесной сыростью, лесным затишьем, и терпким непривычным запахом смолы. Под высокими сводами громадных елей стало совсем темно... И деревенским и городским сделалось жутко в мрачном бору. Хотелось плакать...

По счастью, где-то вдалеке блеснул, засветился солнечный луч между иглистыми ветвями... Мы ободрились, побежали на мелькнувший вдалеке просвет, и скоро все врассыпную выбежали на зеленую, облитую солнцем поляну.

Смотрим: около корней отдельно стоящей на полянке ели работает, пригнувшись чуть ли не к самой земле, низенький, худенький старец, проворно подрезая серпом высокую лесную траву. Серп же так и сверкает на солнечном припеке.

Заслышав шорох в лесу, старичок быстро поднялся, насторожив ухо к стороне монастыря, и затем, точно спугнутый заяц, проворно шарахнулся к чаще леса. Но он не успел добежать, запыхался, робко оглянувшись, юркнул в густую траву недорезанной им куртины и скрылся у нас из вида. Тут только вспомнился нам родительский наказ при входе в бор, и мы чуть ли не в двадцать голосов дружно крикнули: «Отец Серафим! Отец Серафим!»

Случилось как раз то, на что надеялись монастырские богомольцы: заслышав неподалеку от себя звук детских голосов, отец Серафим не выдержал в своей засаде и старческая голова его показалась из-за высоких стеблей лесной травы. Приложив палец к губам, он умильно поглядывал на нас, как бы упрашивая ребяток не выдавать его старшим, шаги которых уже слышались в лесу.

Смоченные трудовым потом желтоватые волосы пустытника мягкими прядями лежали на высоком лбу: искусанное лесной мошкаркой лицо его пестрело запекшимися в морщинах каплями крови. Непригляден был вид лесного отшельника. А между тем когда, протоптав к нам дорожку через всю траву, он, опустившись на траву, поманил нас к себе, крошка наша Лиза первая бросилась старичку на шею, прильнув нежным лицом к его

плечу, покрытому рубищем. «Сокровища, сокровища», – приговаривал он едва слышным шепотом, прижимая каждого из нас к своей худенькой груди.

Мы обнимали старца, а между тем замешавшийся в толпу детей подросток, пастушок Сема, бежал со всех ног обратно к стороне монастыря, зычно выкрикивая: «Здесь, сюда. Вот он... Вот отец Серафим. Сю-ю-да-а». Нам стало стыдно. Чем-то вроде предательства показались нам и выкрикивания наши, и наши объятия. Еще стыднее стало нам, когда две мощные запыхавшиеся фигуры, не помню, мужчин или женщин, подхватили Старца под локотки и повели к высыпавшей уже из леса куче народа. Опомнившись, мы бросились вдогонку за отцом Серафимом... Опередив своих непрошенных вожатых, он шел теперь один, слегка прихрамывая, к своей хибарке над ручьем. Подойдя к ней, он оборотился лицом к поджидавшим его богомольцам. Их было очень много. «Нечем мне угостить вас здесь, милые», – проговорил он мягким, сконфуженным тоном домохозяина, застигнутого врасплох среди разгара рабочего дня. «А вот деток, пожалуй, полакомить можно», – вспомнил он, как бы обрадовавшись собственной догадке. И затем, обратившись к подростку, брату нашему, сказал: «Вот у меня там грядки с луком. Видишь? Собери всех деток, нарежь им лучку; накорми их лучком и напой хорошенько водой из ручья». Мы побежали вприпрыжку исполнять приказание отца Серафима и засели между грядками на корточках. Лука, разумеется, никто не тронул. Все мы, залегши в траве, смотрели из-за нее на старичка, так крепко прижавшего нас к груди своей.

Получив его благословение, все стали поодаль почтительным полукругом и так же, как и мы, смотрели издали на того, кого пришли посмотреть и послушать.

Много было тут лиц, опечаленных недавним горем: большинство крестьянок повязано было в знак траура белыми платками. Дочь старой нашей няни, недавно умершей от холеры, тихо плакала, закрыв лицо передником.

«Чума тогда, теперь холера», – медленно проговорил пустынный, как будто припоминая про себя что-то давно, давно минувшее.

«Смотрите, – громко сказал он, – вот там ребяташки срежут лук, не останется от него поверх земли ничего... Но он подыметя, вырастет сильнее и крепче прежнего... Так и наши покойнички, – и чумные, и холерные... и все восстанут лучше, краше прежнего. Они воскреснут. Воскреснут. Воскреснут, все до единого...»

Не к язычникам обращался пустынный с вестью о воскресении. Все

тут стоявшие знали смолоду «о жизни будущего века». Все менялись радостным приветствием в «Светлый день». А между тем это громкое: «Воскреснут. Воскреснут», провозглашенное в глухом бору устами, так мало говорившими в течение жизни, пронеслось над поляной как заверение в чем-то несомненном, близком.

Стоя перед дверью лесной своей хижинки, в которой нельзя было ни стать, ни лечь, старик тихо крестился, продолжая свою молитву, свое немолчное молитвословие... Люди не мешали ему, как не мешали непрестанной его беседе с Богом ни работа топором, ни сенокос, ни жар, ни холод, ни ночь, ни день.

Молился и народ.

Над смолкнувшей поляной как будто тихий ангел пролетел.

Отделясь от богомольцев и впереди всех стояло хорошо знакомое нам грозное, гордое существо, – госпожа Зорина, далекая родственница моего отца. За ней толпился целый штат женской прислуги, одетой, так же как и она сама, в черное с белыми платками на голове. Старуху поддерживали под оба локотка две не то белицы, не то крылошанки в бархатных остроконечных шапочках. Наскучив торжественным затишьем лесной поляны с ее тихо молящимся народом, старая барыня проворчала, обращаясь ко двору своему: «Молиться успеем и дома. Приехала высказаться и выскажусь». И, подтолкнув в обе стороны своих приближенных, она выплыла с ними обеими на самую середину полукруга.

«Отец Серафим, отец Серафим, – громко позвала она отшельника. – Как вы мне посоветуете? Вот я, генеральша Зорина, вдовою тридцатый год. Пятнадцать лет проживаю, может, слышали, – при монастыре со всеми этими своими. За все это время соблюдаю среды и пятницы; теперь задумала понеделничать, – так что вы на это скажете. Как посоветуете, отец Серафим?»

Ежели бы, появившись, стая грачей пролетела, каркая, над толпой богомольцев, то не больше огорошили бы нас крикливые птицы, чем этот назойливый запрос госпожи Зориной, внезапно прервавший общее настроение.

И отец Серафим, как бы озадаченный, заморгал на нее своими добренькими глазками: «Я что-то не совсем понял тебя, – проговорил он и затем, подумав немного, прибавил, – ежели ты это насчет еды, то вот что я тебе скажу: как случится замолишься, забудешь о еде – ну и не ешь, не ешь день, не ешь два – а там, как проголодаешься, ослабеешь, так возьми да и поешь немного».

Улыбку умиления вызвало на всех лицах это мудрое решение вопроса, сделанное свековавшим в лишениях отшельником. Старая же чванливая ревнительница поста как-то неловко попятилась вместе со своими придворными, проворно укрывшись с ними в толпе своих. А между тем богомольцы ослабели, стоя на солнечной припеке. Тело каждого входило в свои права, требовало пищи, отдыха.

Отец Серафим поманил к себе Прокудина рукой: «Скажи им, – сказал он, – сделай милость, скажи всем, чтоб напились скорей из этого там родника. В нем вода хорошая. А завтра я буду в монастыре. Непременно буду».

Когда же все, утолив жажду, оглянулись, отца Серафима уже не было на пригорке перед хибаркой его, в которой ни встать, ни лечь. Только вдали за кустами шуршал серп, срезая сухую лесную траву.

В обратный к монастырю путь мы шли уже одни, семьей своей, соображаясь с усталой походкой бабушки, – матери моего отца. С нами был только Алексей Нефедович, да длинный ряд домочадцев тянулся на некотором расстоянии позади. Толпы богомольцев уже вступали в монастырские ворота, а мы все еще не выходили из широкого прохладного просека, в конце которого виднелись вдалеке главы монастырского собора.

Отец тихо запел, – что он всегда дельвал, когда был между своими, и ему было хорошо на душе, – запели, как всегда, и обе старшие сестры и брат-подросток своим ангельским, еще полудетским голосом; подтягивал им глубокий тенор Прокудина. Отделившись от прочей прислуги, двинулись стороной Семен и Василий, обычные басы наших семейных песен, и скромный, но стройный хор огласил высокие своды просека: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молимся, Боже наш, Боже наш, Боже наш...» Звуки последнего «Боже наш» еще замирали в вышине, когда мы тихо выступали на монастырскую поляну. А между тем кроткий облик лесного старца невольно носился перед глазами поющих. Сестренка моя Лиза, та самая, которую так обнимал отец Серафим, называя ее сокровищем, сестренка моя крепко держалась за меня обеими руками. При выходе из лесной темноты она сжала мою руку и, взглянув мне вопросительно в лицо, проговорила: «Ведь отец Серафим только кажется старичком, а на самом деле он такое же дитя, как ты, да я. Не правда ли, Надя?»

Много с тех пор в продолжении следующих семидесяти лет моей жизни видала я и умных, и добрых, и мудрых глаз, много видала и очей, полных горячей искренней привязанности, но никогда с тех пор не видала я таких детски-ясных, старчески прекрасных глаз, как те, которые в это

утро так умильно смотрели на нас из-за высоких стеблей лесной травы. В них было целое откровение любви...

Улыбку же, покрывшую это морщинистое изнуренное лицо, могу сравнить разве только с улыбкой спящего новорожденного, когда, по словам нянек, его еще тешат во сне недавние товарищи – ангелы.

На всю жизнь памятно остались мне саженьки мелких дров попеременно с копнами сена, виденные мной в раннем детстве на лесной прогалине, среди дремучего леса, посреди гигантских сосен, как будто стороживших этот бедный, непосильный труд хилого телом, но сильного Божией помощью отшельника.

С раннего утра следующего дня отец Серафим, согласно своему обещанию, оказался уже в монастыре.

Нас, паломников, он встретил, как радушный домохозяин встречает приглашенных им гостей, в открытых дверях внутренней своей келлии. Пребывания в пустыни не видно было на нем и следа: желтовато-седые волосы были гладко причесаны, в глубоких морщинах незаметно было крови от укушения лесных комаров; белоснежная полотняная рубаха заменяла заношенную сермягу; вся его особа была как бы выражением слов Спасителя: «Когда постишься, помажь главу твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, Который втайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Лицо отшельника было радостное, келлия была заставлена мешками, набитыми сухарями из просфор. Свободным оставалось только место перед иконами для коленопреклонения и молитвы. Рядом со старым монахом стоял такой же мешок с сухарями, но открытый. Отец Серафим раздавал из него по пригоршне каждому подходящему к нему паломнику, приговаривая: «Кушайте, кушайте, светики мои. Видите, какое у нас тут обилие». Покончив с этой раздачей и благословив последнего подходящего, старик отступил полшага назад и, поклонившись глубоко на обе стороны, промолвил: «Простите мне, отцы и братья, в чем согрешил против вас словом, делом или мышлением». (Отец Серафим шел этот вечер на исповедь у общего для всех монастырских духовника). Затем он выпрямился и, осенив всех присутствующих широким иерейским крестом, прибавил торжественно: «Господь да простит и помилует всех вас».

Так закончилось наше второе свидание с преподобным Старцем. Как мы провели остаток этого дня не помню, но зато тем более ярко сохранился в моей памяти третий, и последний, день нашего пребывания в Саровской пустыни.

Исповедавшись, как я говорила, накануне, отец Серафим в этот день

служил как иерей обедню в небольшой церкви. Размер ее позволял только немногим из паломников присутствовать при богослужении.

Вспомнив о нас, не попавших в храм, Преподобный выслал послушника сказать, что он выйдет к нам с крестом после богослужения.

Все мы, богатые и бедные, ожидали его, толпясь около церковной паперти. Когда он показался в церковных дверях, глаза всех были устремлены на него. На этот раз был он в полном монашеском облачении и в служебной епитрахили. Высокий лоб его и все черты его подвижного лица сияли радостью человека, достойно вкусившего Тела и Крови Христовых; в глазах его, больших и голубых, горел блеск ума и мысли. Он медленно сходил со ступеней паперти и, несмотря на прихрамывание и горб на плече, казался и был величаво прекрасен.

Впереди всей нашей толпы оказался в это время знакомый немецкий студент, только что приехавший к нам из Дерпта. Его рослая, красивая фигура и любопытство, с которым он смотрел на то, что ему казалось русской странной церемонией, не могли не привлечь внимание отшельника, и он ему первому подал крест. Книрим – так звали молодого немца – не понимая, что от него требуется, схватился за крест рукой и притом рукой в черной перчатке.

«Перчатка», – укоризненно сказал старик.

Немец же только окончательно сконфузился. Отец Серафим отступил тогда шага на два назад и заговорил:

«А знаете ли вы, что такое крест? Понимаете ли вы значение креста Господня?» – и красноречивым потоком полилась звучная, стройная речь из уст вдохновенного монаха...

Ежели бы и доставало у меня памяти, чтобы сохранить за все эти годы слова отшельника, то и тогда не могла бы я занести эту импровизированную проповедь в свои воспоминания. Я в то время не была в состоянии уразуметь ее. В то время мне не могло быть более девяти лет.

Но что могло тогда понимать, видеть и слышать дитя, того не изгладили из памяти моей десятки годов прожитой с тех пор жизни. Не забыть мне этого ясного взора, вдохновенного в эту минуту мудростью свыше, не забыть внезапно преобразившегося лица дровосека муромских лесов. Живо помню звуки голоса, говорившего «как власть имеющий» малому стаду собравшихся в Сарове богомольцев. Помню сочувственный блеск в черных очах Прокудина, помню старую бабушку свою, смиренно стоявшую перед отшельником, «аки губа напоемая». Помню юношеский восторг, разгоравшийся в глазах меньшого дяди. Его заметил проповедник и, слегка нагнувшись к дяде, сказал: «Есть у тебя деньги?» Дядя бросился

было разыскивать в карманах бумажник. Но отшельник остановил его тихим движением руки: «Нет, не теперь», – сказал он. – «Раздавай всегда – везде». И с этими словами протянул к нему первому крест.

И покойный дядя мой не «отошел скорбь», как это было с богатым юношей Писания...

Мы торопились выехать в обратный путь. Запоздали мы немного, и нам не пришлось выбраться засветло из окраины сыпучих песков, огибающих все еще страшный, по слухам, дремучий саровский бор. Пешие паломники, между которыми, как всегда, было много хилых, слабых от старости женщин и детей, уже ушли вперед. На монастырском дворе то и дело слышался грохот отъезжавших экипажей более состоятельных богомольцев.

И наши лошади стояли уже у крыльца гостиницы. Сытые кони наши били оземь копытами, поторапливая своим нетерпением прислугу, разносившую по экипажам дорожную нашу кладь. К Алексею Нефедовичу, ехавшему верхом и заносившему уже ногу в стремя, подошел старый монастырский служка. «Еще утресь, – сказал он, – отец Серафим, выходя из церкви, изволил шепнуть мне мимоходом свой наказ, чтобы вы, Алексей Нефедович, не отъезжали вечером, не повидавшись с ним еще раз».

«Проститься хочет старый друг, отец мой духовный», – заметил на это Прокудин и, оборотившись к нам, промолвил: «Идите за мной и вы все».

И вот вся семья наша с отставным гусаром во главе снова потянулась по длинным коридорам монастырского корпуса.

Дверь в прихожую отшельника была открыта настежь, как бы приглашая войти. Мы разместились молча вдоль стены длинной и узкой комнаты, насупротив дверей внутренней келлии.

Последний замиравший луч заходившего солнца падал на выдолбленный из дубового кряжа гроб, уже десятки лет стоявший в углу на двух поперечных скамьях. Прислоненная к стене, стояла наготове и гробовая крышка...

Дверь келлии беззвучно и медленно отворилась. Неслышными шагами подошел Старец к гробу. Бледно было его бескровное теперь лицо, глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сосредоточенно вглядываясь во что-то невидимое, занявшее всю душу, весь внутренний строй человека. В руке его дрожало пламя поверх пучка зажженных восковых свечей. Налепив четыре свечи на окраинах гроба, он поманил к себе Прокудина и затем пристально и грустно глянул ему в глаза. Перекрестив дубовый гроб широким пастырским крестом, он глухо, но торжественно проговорил: «В

Покров».

Слово святого Старца было понято как самим Прокудиным, так и окружающими как предсказание его, Прокудина, кончины. Под потрясающим впечатлением этого предсказания покинули мы Саратовскую обитель.

Более не довелось мне в жизни видеть преподобного Серафима. Чуть ли не в следующем (1833) году иноки нашли его в своей келлии усопшим на коленях во время молитвы.

Но, конечно, в нашей семье долго не было конца разговорам об обаятельной личности великого подвижника и мирного апостола труда, а ныне прославляемого Церковью Чудотворца.

Мне остается рассказать, как сбылось слышанное мной прорицание батюшки отца Серафима, а сбылось оно в том же году.

Наступил праздник Покрова Богородицы. Что сделалось в этот день с нашим Нижним, всегда таким спокойным, когда с него сбывает ярмарочная суматоха и он засыпает на всю зиму как бы мертвым сном. Четверня за четверней несется мимо нашего дома на конце Малой Покровки. Кажется всякий, имеющий экипаж, дал себе слово проехать по этой улице, поворотить направо и остановиться перед большим белым домом баронессы Моренгейм. Здесь в эту зиму квартировал А.Н. Прокудин. Он сегодня приобщался Святых Таин, и весь город ехал сюда, чтобы его поздравить. И наши все старшие отправились туда же. Лошадей, разумеется, не запрягали, так как из окон нашей гостиной видны были наискось окна дома Моренгейм. Нас меньших, меня и сестренку, оставили под охраной мадам Оливейра, старушки испанки, которую Прокудин отыскал где-то в трущобах Москвы, умирающую от голода и нужды, и привез в дом моей матери, чтобы она ее выходила и откормила, пока священник, отец Павел, будет ее обучать догматам и обрядам нашей веры.

Пламенным желанием испанки было уже теперь постричься в монахини в лежащий неподалеку Девичий монастырь. Сидя в этот памятный день с нами, девочками, и работая свое нескончаемое штучное одеяло, бедная иностранка посматривала на свои дряхлые, худые ручки и вздыхала, думая, вероятно, когда-то они пополнеют. Но вот, тщательно сложив свою работу, она сказала нам:

«Не пойти ли нам тоже с вами прогуляться до дома Моренгейма? В дом мы с вами, разумеется, не войдем, но мы можем уловить минуту, когда мой благодетель выйдет на балкон, чтобы поклониться ему и поздравить его». Мы собрались в одну минуту и, завернув за угол, стали медленно прохаживаться перед домом, где уже гуляли другие дети, кто с

гувернанткой, а кто и с нянькой.

Когда на колокольне ближней церкви пробило два часа, стеклянная дверь на балконе Моренгейма зашевелилась, но когда она открылась, то из нее вышел не хозяин дома, а только общий всему Нижнему врач и друг Линдегрин. Робко подошла к решетке испанка, спрашивая: «Что наш Прокудин?» Ответил доктор: «Он здоровее всех нас и, вероятно, доживет до ста лет. Теперь прохаживается себе по комнатам своим бодрым шагом, угощая своих гостей рассказами о делах Спасителя на земле, и так рассказывает, что всякому кажется, будто бы он слышит это в первый раз. Желая совершенно убедиться в его здоровье, я выдумал какой-то глупый анекдот, где приходилось щупать пульс у каждого из гостей. Я пощупал пульс у толстого господина Смирнова и у старой мадам Погуляевой, и пульс того, который, по предсказанию, должен был скончаться в этот день, оказался ровнее и крепче всех. Извольте после этого верить предсказанию». И добрый немец, повернувшись на одной ножке, почтительно поклонился испанке, послал каждой из нас по воздушному поцелую и ушел обратно за стеклянную дверь.

На колокольне пробило половину третьего. Вдруг стеклянная дверь наверху распахнулась и сбежал опрометью по ступеням бледный как смерть лакей; он кричал: «Умирает, меня послали за духовником». Но как ни близка была церковь и как ни спешил отец Павел, все же ему пришлось дочитать отходную над усопшим, над холодеющим уже трупом того, кого бедные и богатые называли другом нищих и убогих. Умирая, он опустился на кресло, прильнув головой к его высокой спинке. Правильные, благородные черты лица отставного гусара были совершенно спокойны. Казалось, это младенец, тихо уснувший на коленях матери.

«Преставился», – громко сказал седовласый пономарь, стоявший с кадилом в руках.

«Да, – прибавил священник, утирая крупную слезу со щеки. – И теперь он там, откуда же отбеже и печаль и болезнь и воздыхание». Врачи не обнаружили в скончавшемся никакой болезни и не отыскали никаких признаков приближающейся смерти. Может статья, в Нижнем Новгороде или в окрестностях Сарова найдется кто-либо, еще помнящий смерть Прокудина, этого человека, горячо любившего Бога и ближних. Он, вероятно, подтвердит мои воспоминания. Помнят ли в Сарове или нет прорицательное слово, сказанное отшельником своему другу и ученику, в виду издавна приготовленного им для себя гроба? Не знаю. Во всяком случае, оно сбылось.

Содержание

Н. Аксакова Из детских воспоминаний о преподобном Серафиме Саровском Н.Аксакова	1
--	---